Кот диктует про татар мемуар

Вячеслав Рыбаков

SHOUT
SHARE
IT

- Вячеслав Рыбаков

Вячеслав Рыбаков
Кот диктует про татар мемуар

Должен вам сказать, сэр, что сила Инквизиции такова, что она, подобно смерти, одним прикосновением своим отрывает нас от всего земного. Стоит ей схватить вас за руку, как все люди вокруг разжимают свои и перестают удерживать вас: вы видите, что у вас уже нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни сына.

Чарльз Роберт Метьюрин

Эта долгая, многосерийная история началась в феврале 1975 года, когда я прочитал книгу Владимира Михайлова "Дверь с той стороны". Действие там происходит, как, наверное, помнят любители фантастики, на звездолете, который во время нуль-перехода вместе со всем экипажем превратился в сделанный из антивещества. Вернуться на Землю звездолет не мажет. Земля уверена, что он просто взорвался.

Как, откуда приходят в голову идеи?

Загадка. Мой роман "Очаг на башне" родился из одной-единственной фразы Ольги Ларионовой, произнесенной на одном из семинарских обсуждений: "У технарей не осталось ничего святого". Я тут же подумал: "А у писателей — осталось, что ли?"

Эта мысль послужила эмоциональным первотолчком; из нее проросли и концепция, и сюжет, на которые как бы сами собой, возникая из небытия, навинтились эпизоды и фразы, побуквенно осыпавшиеся затем на бумагу.

Так было и в тот раз. Я подумал всего-навсего: а что происходило на Земле, когда там узнали о взрыве корабля?

Сколько подобных вопросов мелькает и уходит бесследно! Если бы каждый разворачивался в повесть или хотя бы в рассказ!

Первое, что я узнал про будущую вещь, — это что корабль действительно взорвался, все погибли. Вторыми — ни с того ни с сего слетели откуда-то сверху имя и фамилия главного героя: именно Ринальдо и именно Казуаз. Третьим пришло название: сначала "Переселенцы", потом — "Доверие" с подзаголовком "Сага

о межведомственном информационном обмене".

Почти год минул, пока более или менее сложилось и все остальное. В январе 1976 — это были зимние каникулы, в тот год я кончал Университет — я написал исходный текст, а еще год спустя, после доработки правок, повесть была закончена. Совершенно безоглядно я давал ее читать всем, кому только мог. Я был очень горд своим творением и собой. В ноябре 77-го "Доверие" обсуждалось на семинаре фантастов и набрало довольно высокий балл; на этом бы все и кончилось. Но не кончилось.

В 1978 году в Ленинград приезжал известный фэнам Юра Илков из Болгарии. Мы познакомились, очень хорошо пообщались — я возил его в Комарово, где свел с Е. П. Брандисом и вдовой Ефремова… Юра прожил в Ленинграде три, кажется, дня, а уезжая, обещал на будущее лето пригласить меня к себе, в Болгарию. И пригласил.

И меня не пустили.

В ОВИРе, куда я по малолетству пошел искать обьяснений, мне коротенько растолковали, что я не могу ехать по его приглашению, ибо он приезжал в СССР не по моему приглашению, и, значит, знакомство наше не близкое.

Нет худа без добра, кстати: злой, как черт, я вышел из ОВИРа и прямо на Конюшенной (тогда там еще были авиакассы) купил билет на Симферополь (тогда еще можно было просто взять да и купить билет на Симферополь), и так впервые попал в Коктебель, куда с тех пор езжу в отпуск каждый год.

Но это к слову.

В конце октября я улетал в Москву. В портфеле моем была, в частности, разноязыкая картотека книг, которые надлежало постараться в Москве найти и прочесть или хотя бы просмотреть, лежали там машинописные куски переводов моего любезного уголовного кодекса династии Таи, наброски статей…

В тот день на аэродроме Пулково можно было проносить автоматы, бомбы, пушки. Безо всяких обьяснений портфелишко мой, совсем и не подозрительный с виду, был досмотрен самым тщательным образом. При виде бумаг, начисто забыв об обеспечении безопасности полетов, ко мне сбежалась чуть ли не вся милиция пропускного пункта. Охранники листали и наугад читали мои странички, рылись в картотеке и пытались разбирать английские и даже китайские выходные данные… Глаза у них горели: диссидента выявили с поличным! Нет, крамолы не нашлось, все — наука. Но вместо извинений — от меня же потребовали доказательств того, что я имею право ею заниматься. Аспирантский билет ПО института востоковедения АН СССР их,

по счастью, удовлетворил. Все время полета у меня ушло на восстановление языкового и алфавитного порядка в картотеке.

То был второй звонок. Возможно, он прозвенел случайно. Просто совпало так. Не знаю и не узнаю никогда. Но зимой слух, объясняющий срыв моей летней поездки к Юре, докатился до меня в самом моем заведении: якобы куратор института от самого компетентного ведомства страны, уходя в отпуск, разрешил мне поездку, но с тем, чтобы я побольше там наболтал и побольше дал на себя компромата — а уже без него кто-то переосторожничал и запретил. Это был всего лишь слух; я опять-таки никогда не узнаю, что в нем правда и есть ли она в нем вообще. Но я уже чувствовал себя обложенным. То ли облавой, то ли просто — дерьмом.

Поэтому, когда двое-трое коллег, до тех пор вовсе не интересовавшиеся моими литературными потугами или даже впрямую подхихикивавшие надо мной ("Он не только синологией занимается, он еще и фигней занимается" — никогда не забуду эту фразу), вдруг как-то очень одновременно принялись у меня спрашивать, нет ли чего новенького почитать, я либо отшучивался, либо давал старые, совсем наивные вещи, особенно напирая на "Великую сушь", благо к тому времени она уже вышла. "Да что вы, ребята, какое новое? Диссертовину осенью подавать!" Хотя меня буквально распирало: есть, есть, есть!!!

Чуть позже я все-таки сделал одно исключение — для своего научного руководителя. Как оказалось, он в курсе этих дел — и даже гораздо более меня, вероятно; насколько я понимаю, ему впрямую пришлось тогда отстаивать меня и на уровне дирекции, и на уровне райотдела КГБ. Однажды он в лоб сказал: "Говорят, у тебя антисоветская повесть есть, а я и возразить не могу. Дай посмотреть". Через несколько дней вернул, пробурчав нечто вроде: "Совсем с ума посходили… Ну теперь если спросят, скажу: читал. И ни черта крамолы не обнаружил…"

Благодарность моя ему неизбывна.

Однако летом 80-го вероятностная, как выражаются в фантастике, вилка моего будущего выглядела так: либо я сбацаю диссер, блестящий со всех сторон, и успею в течение аспирантуры хотя бы предзащиту пройти — тогда еще можно как-то рыпаться дальше, либо в декабре, по истечении аспирантского срока, вылечу из института, как пух от уст Эола, и со своей нигде не нужной высокой квалификацией окажусь безработным тунеядцем. Причем никто мне этого официально, упаси бог, не говорил. Пару раз намекал руководитель. А вообще — это как бы само собой разумелось, в воздухе висело. Либеральные, гуманные штучки типа взятия из аспирантуры в штат по наметкам, разработкам и

слезным обещаниям уложиться в следующие два года были явно не для меня.

После предзащиты, в октябре, один из ведущих наших китаистов заметил, поздравляя: "На вашем месте я с завтрашнего дня на месяц ушел бы в загул. Заслужили". Но у меня были иные планы.

Назавтра меня вызвали в ЛАХУ (Ленинградское административно-хозяйственное управление АН, это рядом с Кунсткамерой) по совсем не относящемуся к политике вопросу, но вопрос этот даже не стали разбирать, когда я пришел. "Ну, ладно. Тут вот еще один товарищ хотел с вами побеседовать. Подойдите сюда же через часик".

Я и подошел.

Чекисту Александру Евграфовичу из повести "Не успеть" я дал инициалы того товарища, хотя сходства между ними никакого. Вполне интеллигентный, симпатичный с виду, всего-то лет на 10 старше меня (мне тогда было 26), очень корректный и безо всякого амикошонства человек пригласил меня в черную "Волгу" (мне, как и любой воспитанной в аморфном страхе божием советской медузке, даже в голову не пришло отказаться или потребовать обьяснений), и от знакомой с университетских времен набережной мы покатили в неведомую бездну.

Обличать тоталитаризм во всепланетном масштабе — это я плохо-бедно уже умел. Со средневековым китайским чиновничеством на кандидатском уровне тоже разобрался. А вот в такой локальной ситуации был, по-видимому, дурак дураком. Я даже не знал, куда мы едем!

Кажется, на Халтурина "Александр Евграфович" попросил шофера остановиться и подождать — дескать, он на минутку зайдет к знакомому. Я уже плохо помню, зачем именно (вообще эти события просвечивают в памяти, как и все, что резко вываливается из привычного распорядка вещей, словно бы мозаично, гнездами: яркая деталь — провал, яркая деталь — провал). То ли что-то занести, то ли что-то забрать… Скорее всего, и впрямь так. Но я сразу подумал: оставили посидеть и помлеть, чтобы клиент, как говорится, дозрел. Однако я не дозревал — по наивности, конечно. Умом понимал, что вот действительно, не в неопределенных слухах, не в модном застольном трепе "да всех нас заберут, куда мы денемся" попал в жернова, о силе и беспощадности которых имею самое слабое, самое смутное представление. Но в душе не укладывалось, казалось бредом или игрой. Ведь ничего не может случиться! Ведь я же не враг. Не Солженицын какой-нибудь или Сахаров, которые действительно хотят вреда Родине!

Дурак дураком…

Помню, приемник "Волги" работал и пел про то, что нельзя отказывать, если женщина просит. С той поры я слушаю "Снегопад" с особыми чувствами.

Приехали мы в райотдел КГБ. Это у Чернышевской, этажом выше над райкомом комсомола. Наверное, и теперь так.

Беседовали со мною то двое, то один, то опять двое по модели "добрый и злой". "Добрым" был "Александр Евграфович", "злым" — его начальник, который, кажется, назывался "полковник Мищенко", хотя, натурально, ни документов его, ни погон я не видел. Кажется, сейчас его уже нет в живых. Он нашвыривал резких фраз и обвинений, выходил на некоторое время по другим делам, тогда "добрый" начинал хотеть мне помочь и задавал конкретные вопросы.

Оказалось, повести они не читали. Но, судя по обмолвкам, содержание было изложено очень подробно в полученной ими "телеге" (или"телегах" — они несколько раз специально подчеркивали, что получили целый ряд "сигналов", и из института, и из семинара фантастов; стандартный, но безошибочный ход, заставляющий "пациента" подозревать всех друзей и ощущать свое полное одиночество). Более того, судя опять-таки по обмолвкам, в "телеге" повесть была представлена куда более крамольной, чем на самом деле. Я тогда подумал даже, что "телегу" мог накатать человек, тоже не читавший, опиравшийся, скажем, на пересказ. Кто-то из моих приятелей, гордый тем, что читал рукопись, в дружеской беседе излагал, набивая цену уже самому себе: "Ну, Рыбаков их приложил! Ну там такое!.." А уж один из слушателей дал делу ход. Некоторое время, руководствуясь этой версией, я пытался реконструировать цепочку. Но варианты множились, да и сама версия не была доказанной; я махнул рукою. Во всяком случае, ситуация дала мне хорошие ответы на многие плохие вопросы: "Да нету там этого! Да кем же надо быть, чтобы так понять! Да вы прочитайте сначала!"

Быстро сделалось понятным, что интересует их не только повесть. Время от времени, по возможности неожиданно, Мищенко наугад пулял в белый свет, как в копеечку. При удачном попадании такие залпы должны производить сильнейшее впечатление. Но у меня постепенно крепло — возможно, самонадеянное — убеждение, что, пока им сам не скажешь, они ничего не знают. Конечно, и раскручивали меня не совсем всерьез, это я тоже постепенно понял. Но вот, скажем, Белла Григорьевна Клюева, делавшая в 60-х всю НФ в "Молодой Гвардии", опубликовавшая по первому разу почти всех тогдашних

Стругацких, ведшая Библиотеку современной фантастики, знаменитый 15-томник, ставший 25-томником… К тому времени ее уже "ушли" из "МГ", и работала она в Московском ВААПе. Нас познакомили с нею еще в 75-м, я, бывая в Москве, раза два даже останавливался у нее. Совершенно замечательная женщина. И вот идет нудный разбор вопроса, почему силы охраны общественного порядка при коммунизме называются у меня Службой Спокойствия, отдавал ли я себе отчет, что аббревиатурой здесь окажется всем известное СС — и вдруг обухом: "Некая Клюева помогала вам переправлять ваши рукописи за рубеж?"

И я, в ужасе за Беллу Григорьевну, начинаю заверять, что никогда с такими просьбами к ней не обращался, и она меня на такие просьбы никогда не провоцировала, и рукописей, интересных для Запада, у меня нет и быть не может, а если бы и были, я бы их туда не послал, а если бы уж приспичило, так не к Клюевой бы обращался, поскольку знаю ее как исключительно порядочного и не склонного к антисоветизму человека…

Интересовала их, естественно, и моя личная жизнь. Юношеские альковы, вероятно, тоже могут представлять опасность для занимающей шестую часть суши державы, если лежать в них не с поллитрой, а с пером и бумагой — и потому входят в необъятный перечень обьектов, опекаемых стражами великих завоеваний. "С родителями вашей подруги у вас идеологические расхождения? Вы пытались вести в той семье антисоветскую агитацию?”

Что вы, мою повесть ни она, ни они не читали, политических разговоров я с ними никогда не вел… (А то бы, дескать, они мне дали бы надлежащий отпор, вы уж не сомневайтесь!)

Интересовали их и творческие планы мои. Ну, тут ответ обкатанный, какая литература, гражданин начальник, диссертовину защищать надо!

Особо вставал — именно вставал, несколько раз вставал, и еще назавтра, и еще на послезавтра — вопрос о семинаре перевода с восточных языков. Эта настойчивость довольно достоверно, как мне кажется, проливает свет на мотивы, по которым мои собеседники — пусть и без особого пыла — старались в ту осень сделать из мухи слона.

Семинар художественного перевода с восточных языков при СП, состоявший в основном из молодых сотрудников нашего же института, создал и до самой своей безвременной смерти возглавлял Борис Борисович Бахтин, китаевед и писатель, личность весьма яркая и что называлось— крутой диссидент. Сейчас обычные читатели уже могут познакомиться с какими-то его вещами: "Одна абсолютно счастливая деревня” в Неве ,

“Дубленка” в “Искусстве Ленинграда” … А тогда — тогда "Дубленка" только что вышла в известном “Метрополе”, а ее автор, лично знакомый со всеми от Окуджавы до Максимова, еще и молодежь вокруг себя собирает, а я с ним в одном помещении сижу в институте! Два антисоветских литератора бок о бок — и притом в семинар к Бахтину я не хожу, в гостях не был ни разу, в сколько-нибудь плотном общении не завлечен… Ежику понятно, что конспирация!

Вот на этом они всерьез землю рыли. Подпольная группа писателей, резидент и вербуемый сопляк, возможно, не один — да это ж очередной звездочкой пахнет!

И опять мне скрывать было нечего. В семинар не ходил, потому что не хотел, иероглифов мне хватало и по прямой моей востоковедной теме, а уж писать — так фантастику. Бахтину ничего из своих опусов не подсовывал, потому что стеснялся первый предлагаться. И т.д., и т.п. Опять пустышку вытянули мои собеседники.

Тогда так. "Сколько экземпляров вы распечатали?" "Четыре", — честно, как дурак, ответил я. "Вы даете читать друзьям?" "Давно уже не даю", — все равно как дурак, хотя и не честно, ответил я, смутно вспомнив, что за изготовление клеветы Родина дает в ухо один раз, а за изготовление и распространение — четыре с половиной, а потом, когда скорчишься, добавляет еще по почкам. На этой моей иезуитской хитрости меня и поймали. "Отсюда до вашего дома минут сорок, и сорок обратно. Мы, конечно, хотим прочесть вашу повесть, но привезите-ка нам через два часа все четыре экземпляра. А если привезете не все четыре или не уложитесь в срок — значит, их у вас дома нет и, значит, вы нас обманули". — "Но ведь рабочий день уже кончается… вечер…" — "Здесь обязательно кто-то будет по крайней мере до 20".

Как я метался, пытаясь в срок добыть два отсутствовавших дома экземпляра — это отдельный Хичкок. Нерв был такой, что впору хлопнуться с инфарктом. Одного читателя никак не удавалось застать дома — помню, я чуть не плакал от бессилия, трезвоня в дверь безликой квартиры, в которую буквально через час, ну — через полтора, должен был вернуться с работы очень хороший человек. Другая — с ней я по телефону договорился о встрече на Чернышевской точно на то время, когда мне надлежало с полным собранием хул под мышкой идти обратно ("Это очень важно! Очень!! По телефону не могу! Дождись обязательно! Нет, я точно, точно приду, только могу немного задержаться!"), вообще не появилась. Впоследствии выяснилось: уходя из дому, повесть она забыла, пару минут походила по

Чернышевской, чтобы встретить меня и сообщить об этом, а поскольку я задержался у дверей пустой квартиры, спокойно поехала дальше, на свиданку. Уже чуть ли не за полночь я дозвонился до ее мужа и вновь помчался через весь город, от Политеха до Ветеранов, и муж вынес мне к метро недостающую папку… Дополнительные, мягко говоря, неудобства доставляло то, что дома, не вправе никого волновать из-за этих странных дел, я, натурально, рассказать ничего не мог и оттого подвергался яростной и обиженной критике: "Что тебе не сидится? Куда тебя несет на ночь глядя? Скажешь ты толком или нет? Что, ты нас уже и за людей не считаешь?"

К этому времени и третий экземпляр был у меня. Кворум. Комплект. Ночь. Невыносимое, бесконечное ожидание утра. К литературоведам в штатском я поплелся с самого ранья, ожидая чего угодно, хоть ареста.

Меня пожурили сурово. Я сослался на то, что после вчерашней беседы мне помешал вернуться сердечный приступ. Валидолом от меня действительно воняло так, как от иных перегаром не воняет. "Спортом надо заниматься, спортом",— посоветовали мне. В общем, сошло. Мы побеседовали с полчаса, потом меня погнали вон и вцепились в текст.

Когда мы встретились снова, я понял, что в определенном смысле их разочаровал. "Не фонтан", — с интонацией признанного литературного критика сообщил мне "добрый" (отчетливо помню именно этот термин). И дальше пошло едва ли не как у нас на семинаре: сюжет рыхлый, мотивации неубедительны, из всех эпизодов прет сексуальная неудовлетворенность автора… "Вы просто выпендривались, комплексы тешили. Удивить всех хотели: во какой я смелый и свободомыслящий!" По возможности более жалко улыбаясь, я, как умел, соглашался с такой трактовкой, чуя, что нужного им градуса крамолы мои собеседники в повести не нашли.

И вот итог. С зарубежом не связан, в подпольную литературную группу не входит, злобной, и явной антисоветчины на уровне "Пидорас Брежнев, вон из Афганистана!" не писал.

Но что же — зря работали четыре дня два высокооплачиваемых специалиста? Такого быть не может. Да и не четыре дня вовсе. "Вы у меня давно на примете", — в одной из бесед сообщил "добрый" и принялся на память цитировать строфы из "Песенки стукача", которую я написал еще на четвертом курсе, в десятилетнюю годовщину снятия Хрущева — и которую сам уже забыл давно, музыка была ни к черту, и стишата слабые, только концовка ничего: "Не для корысти я служу, а ради дела. Чтоб сладко спалось в Мавзолее Ильичу, чтобы звезда Кремлевская

горела — стучу, стучу, всегда стучу, на всех стучу". Наворожил себе… Но и эту концовку я в 80-м году забыл — спасибо, "добрый" напомнил. Именно тогда я впервые отчетливо посмотрел на него с состраданием: какой ерундой серьезный человек вынужден забивать себе голову по долгу службы! Стихи-то слабые! И музыка ни к черту! Зачем же помнить?

Словом, чтобы закрыть дело, мне предложили добровольно отдать все четыре экземпляра, написать — чтоб учетный документ приобщить к чему-то! — просьбу об этом, а в просьбе дать принципиальную характеристику собственного произведения и итогов его обсуждения на семинаре Б.Н.Стругацкого в ноябре 1977 года. Что я и сделал.

Аспирантура заканчивалась — рыпнись, и на улице. У матери моей и без этих заморочек сердце на ладан дышало (полутора лет не прошло, как инфаркт все-таки настиг ее). Два месяца назад — сын родился. Полный букет. Эти три странички я писал, наверное,часа два.

Интересно, сохранились они? Или сразу пошли в макулатуру? Или пошли, но не сразу?

Самым отвратительным был конечно, пунктик об итогах обсуждения, или как он там точно формулировался. Тут надо было воистину меж дождевыми струйками проскользнуть, как Микоян в бородатом анекдоте. Я напирал на запомнившуюся мне реальную критику — исходя из того, что мои собеседники в той или иной степени знают, какие претензии предьявлялись и кем, и так доказывая, что семинар принял мою сомнительную вещь без восторга, следовательно, он не рассадник. Затянутость, лишние эпизоды, неубедительность трехлетнего сидения Мэлора у кнопки… не помню уж всего. Особо, чтобы как-то отвести возможный удар от руководителя семинара — я все эти дни маниакально боялся кого-то подвести, — пришлось высосать из пальца полную ахинею: после заседания Борис Натанович отвел якобы меня в сторонку, не желая компрометировать перед другими членами семинара и привлекать их внимание к чисто политическому аспекту вещи, и поведал о нечеткости социальных акцентов, о том, что сам того, возможно, не желая, я даю возможность антисоветского истолкования ситуации и, следовательно, не недостатки критикую, а, так сказать, злопыхчу, вкладывая в руки нашим врагам так им без моей повести недостающее идеологическое оружие; в заключение он посоветовал вещь доработать. Якобы после этого у меня открылись глаза и я перестал давать повесть кому бы то ни было — а переработать не успел, ибо готовил диссертацию.

Вместе с этой паскудной бумажонкой, дурь которой

наверняка была заметна моим собеседникам также, как и мне самому, четыре папки — кровь от крови моей — уплыли от меня навсегда.

"Вам приходилось когда-нибудь жечь собственных детей? Что вы знаете о страхе, благородный дон!.."

Видимо, в тот же день администрация нашего института была уведомлена, что Рыбаков отнюдь не контрреволюционный гений, а просто щенок, да еще и с сексуальной неудовлетворенностью в каждом эпизоде. Администрация повела себя в высшей степени лояльно — я не шучу, не иронизирую, я всерьез и с уважением, потому что после такой встряски, даже при отсутствии явных претензий со стороны Комитета, большинство начальников на всякий случай послало бы меня на ближайшие 10 лет подметать Средневыборгское шоссе. А меня взяли в штат сразу после окончания аспирантуры. Правда, защищаться посоветовали в Москве — подальше от станции метро Чернышевская. Мало ли что. Опять-таки как в анекдоте: он добрый такой, всего-то ногой пихнул — а ведь мог и шашкой рубануть…

Но и на этом история не закончилась. На данный момент у нее есть по крайней мере еще три продолжения.

С "добрым" мы встречались еще дважды. Первый раз — летом 84-го. Шла важная востоковедная конференция, шибко международная, я входил в команду, расселявшую приезжих советских участников в гостинице "Советская" же; "добрый", видать, тоже чем-то занимался, и мы столкнулись нос к носу. Впрочем, несколько раз и до этого мельком здоровались у нас в институте. А тут уже почти готов был сценарий "Писем мертвого человека", и "добрый" слышал звон. "Вы теперь увлеклись кино?" — "Да, писал сценарий об атомном конфликте". — "Боевичок…" — "Нет, что вы. Фильм серьезный, антивоенный". — "Пацифистский", — презрительно заключил "добрый" и удалился.

Вторая встреча произошла год спустя, в пятый месяц эры Горбачева, и длилась недели полторы. Я до сих пор не знаю, как ее интерпретировать.

"Александр Евграфович" неожиданно позвонил мне домой и попросил о свидании. Свидевшись и поговорив, по старой дружбе, о том о сем — в частности, в пух и прах изругав, как сейчас помню, фильм "ТАСС уполномочен заявить… " и прямо-таки, как товарищ товарищу порассказав, что там якобы в действительности было с Трианоном и сколько ошибок в этом деле допустила столичная безопасность, — он вдруг спросил, когда я отправил в Президиум Академии наук жалобу о том, что меня зажимают и не пускают на стажировку в Китай.

Мне только икнуть оставалось. Никогда я в Китай не рвался.

Да в ту пору и никто из наших не ездил, столпы востоковедения бились в эту стенку годами… Так я и ответил. Не писал, не собираюсь, и вообще Коктебель и Новый Свет не променяю ни на какой Аомынь. Нет, настаивал "добрый", писали, я вам в следующий раз постараюсь показать копию вашего письма; это очень плохо, потому что куратор вашего института, человек очень жестокий, похуже Мищенко, и вдобавок враждебно к вам настроенный, за это письмо ухватился и в данный момент вовсю под вас копает, и только я могу вас спасти. Но вы со своей стороны…

Уже ясно, правда? Любой, кто хоть иногда читает детективы, сразу сообразит, что именно "я со своей стороны" был должен.

Я не смогу пользоваться уважением своих новых коллег, сказал я. В четверть мозга балакая о чем-то для выигрыша времени, над фразой этой я думал минут десять. "Добрый" ушел, обещав еще позвонить. И звонил, и убеждал. У вас же все контакты уже фактически есть! Все возможности, только шевельнитесь! Вот на днях к вашему Лопушанскому приезжает из-за рубежа видный специалист по творчеству Тарковского, лично знает многих эмигрантов, к нашему строю относится отрицательно. Как было бы хорошо, если бы вы смогли присутствовать при их беседах!

О господи…

А ведь я чуть не согласился.

Отнюдь не страх перед мифическим куратором и копией моего письма (которую я, конечно, так и не увидел) заставил меня колебаться — хотя страху были полны штаны, ночей не спал. Отнюдь не соблазн каких-то новых возможностей и привилегии по слухам, положенных в нашей стране подонкам. Хуже.

Органическая неспособность решительно говорить "нет".

Ведь живой человек просит! Так просит! Ему же ведь это очень нужно! Я же его оскорбляю, унижаю тем, что раз за разом ему отказываю! У него же из-за меня п работе могут быть неприятности!

Дурак дураком…

А "добрый", вероятно, считал, что у меня поджилки трясутся — и пора подсекать.

Последнее наше свидание происходило ни с того ни с сего в каком-то из кабинетов управления балета на льду, в доме, соседствующем с нашим институтом. "Добрый" был решителен, никаких не относящихся к делу разговоров на этот раз себ не позволял. "Чтобы вывести вас из-под удара, мне пришлось сказать, что мы с вам уже сотрудничаем. Конечно, фигурировать

вы будете не под своей фамилией. Как отчество вашей матери? Константиновна? Вот вы будете Константинов".

Я понял — шутки кончились. Ни бластера, ни квантового дезинтегратора как-то н случилось под рукой, и отнюдь не ждал на набережной гравилет. Ничего я не мо кроме как ответить, стараясь, чтобы голос не дрожал: "Вы слишком много на себя берете".

"Ну, что ж теперь поделаешь". — "Я не согласен. Я ни разу не сказал вам, что согласен".

"Между прочим, у вас в институте скоро общая переаттестация научны сотрудников. Вы уверены в своих позициях?"

"Это мое дело".

"И все-таки подумайте хорошенько".

Последнее слово осталось за ним. А значит, и неопределенность осталась. Мы разошлись на набережной, а через минуту я бросился за ним вслед. По привычному, почти родному Запорожскому переулку, где чуть ли не каждой день ходишь взад-вперед. И вокруг — столько людей!

"Добрый" куда-то звонил. Я увидел его в будке автомата и замедлил шаги. Он повернул голову в мою сторону, и я глупейшим образом спрятался за угол — мне хотелось подойти, когда он выйдет из будки, невозможно было стоять рядом и ждать, когда он договорит. Впрочем, я тут же вынырнул обратно и пошел к нему. Он повесил трубку. Отчетливо помню, как очень мягко, будто что-то втолковываю ребенку, я произношу: "Я не завербовался!"

А он мне ответил что-то вроде: "Очень жаль".

И я ушел. И вскоре уехал в отпуск, сильно подозревая, что, когда вернусь, в институте уже и стол мой сожгут, и имя мое позабудут. Однако — нет.

Черт его знает, что это такое было.

С тех пор все тихо. Пока. Тьфу-тьфу-тьфу.

Продолжение второе имело место в ноябре 86-го года. Перестройка набирала обороты и, возможно, находилась в лучшей из всех до сих пор известных нам фаз: кровь еще не лилась, республики, края, области и микрорайоны еще не начали, как тараканы разбегаться по углам, в магазинах еще кое-что было, и казалось, вот-вот станет больше — и в то же время воняющие убоиной идеологические табу начинали слетать одно за другим. В апреле я закончил "Очаг на башне" и осенью достал из папок черновики, заготовки, промежуточные куски "доверия". Иногда опираясь на них, а иногда работая совершенно наново, я написал повесть, которая в чуточку сокращенном виде была опубликована

в "Урале" и вскоре выйдет в моем сборнике "Свое оружие". Мне кажется, она умнее, глубже того "Доверия", которое удостоилось когда-то столь высокого внимания. Гораздо интереснее поставить эксперимент чистый.

Общество — практически идеальное, и люди-то все очень хорошие; но, раз включив некий социальный механизм, пусть даже с наигуманнейшими намерениями, они уже не могут сказать "чурики" и отрулить обратно. Кнопки, которые нельзя нажимать ни в коем случае, есть не только в арсенале ракетчиков — но и в арсенале политиков, и в арсенале экономистов. Нажал — тогда не обессудь. Падающий ковш экскаватора одинаково легко пробьет череп Гитлеру — и Швейцеру, Брежневу — и Сахарову… Швейцер и Сахаров — не в том, что они могут этот падающий ковш голой рукой остановить, а в том, что они никогда не сделают движения, после которого ковш упадет. В сотый же раз описывать, как ковш расплющил Гитлера… пфе!

И, наконец, третье продолжение случилось каких-то полтора года назад.

В университетские времена я дружил с девушкой с моего же курса, тоже китаисткой, только гораздо способнее меня; и была она не историк, как я, а филолог. С большим пиететом она относилась к моим тогдашним писаниям, и я дарил ей третьи, а то и четвертые экземпляры. Кончилась учеба, она вернулась в свой Львов — хотя и наезжала несколько раз в Ленинград, вначале одна, потом с мужем, потом перестала (она все пыталась оформить хотя бы соискательство в Университете, во Львове ее способности были не нужны — и, естественно, ничего не вышло); потом и переписка наша как-то угасла, хотя я лелеял надежду: вот выйдет у меня когда-нибудь книга, обязательно пошлю ей… Как будто нашим друзьям нужны наши книги, а не мы сами.

Поздно вечером — частый перезвон.

"Але?" — "Это Ира, помнишь?" — "Господи, еще бы!" — "Мы завтра уезжаем".— "Чего? Куда это?" — "Пока как бы в Израиль, потом попробуем в Штаты. У нас ребенок будет, рожать и растить здесь нельзя".

Я так ошалел, что, наверное, только через полминуты ответил: "Черт. Вот так все порядочные люди разъедутся, останутся тут одни подонки, и тогда мы на вас точно нападем, вам же хуже будет".

Из этой фразы четыре месяца спустя проросла повесть "Не успеть".

"У меня много твоих рукописей. Я боюсь их везти через таможню, вдруг у тебя из-за этого будут неприятности. Я высылаю их тебе. Только не думай, что мне не хотелось бы увезти

их с собой. Просто я боюсь, что у тебя могут быть неприятности".

Один парень с нашего курса как-то сказал о ней: "Все-то ее беспокоит, всего-то она боится. Хочется ее пристрелить из жалости".

Видимо, так наше государство и поступает.

А тот, кто из жалости не стреляет, а помогает, нечувствительным образом оказывается врагом государства.

Через неделю я получил две обьемистые бандероли. Чего там только не было! Дарил — и забывал… А у нее хранилось. Там было "Доверие"! Тот самый вариант! До сих пор не могу вспомнить, когда и как я его презентовал. Кажется, послал на Восьмое марта 1977 года, а уж потом окончательно распечатал. В подарок-то уж надо было послать первый экземпляр, а в издательствах, куда я по наивности собирался ходить с "Доверием", тоже нужен был первый экземпляр. В ту пору я еще мог перешлепать 170 страниц просто для того, чтобы сделать подарок.

И вот 9 лет спустя после конфискации я перечел свою, казалось, погибшую повесть.

Она эмоциональнее, конечно. Возможно, хлестче. Видно, что писал почти ребенок. Инфантильные антисоветизмы, которые я сейчас воспринимаю отчасти как дурновкусие, привязывают текст к реальности, делают его не умозрительной алгебраической формулой (не зря в новом варианте части называются "Условия", "Решения", "Результат"), а злободневным памфлетом. С одними и теми же героями, с одним и тем же сюжетом, с почти одной и той же проблематикой — это две разные вещи.

Член нашего Семинара Сергей Переслегин, читавший обе, заметил: "Вторая лучше, но первая мне нравится больше". Очень глубокомысленно.

Не знаю. Не мне судить.

Но до чего же мне хотелось бы увидеть оба варианта под одной обложкой рядом. Академическим изданием, как с иронией выразился Борис Натанович…

Я не смею предлагать настойчивее. Я отойду теперь в сторонку, ждать дальнейших продолжений, бормоча строчки собственного стихотворения:

…Я много бы, наверно, мог,
Когда бы не чужая шпора.
Как рано, Господи, как рано,
Как не туда и как не так
Меня погнал ездок-дурак
И на прицел взяла охрана.